

© 2026. К. В. Анисимов

Красноярский государственный педагогический
университет им. В. П. Астафьева
г. Красноярск, Россия

Судить «о вещах так, каковы они есть на самом деле»: Дерсу Узала, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой и семиотика

Исследование проведено в Красноярском государственном педагогическом университете им. В. П. Астафьева за счет гранта Российского научного фонда № 25-18-00071, <https://rscf.ru/project/25-18-00071/>

Аннотация: Статья посвящена художественному осмыслению и культурному воображению новообращенного региона в ходе его территориальной интеграции. В случае В. К. Арсеньева — это южная часть русского Дальнего Востока. В центре внимания находится характерный для такого исторического опыта дуализм — путешественника, символизирующего государственную власть, и местного аборигена. Частным направлением анализа выступила поэтика коммуникации: Арсеньев показывает, что его герои говорят, называют предметы, думают о них по-разному. Рассмотренная в семиотической перспективе, коммуникативная стратегия Дерсу Узала обнаружила преобладание индексальных знаков, подразумевающих считывание смысла по косвенным признакам, следам. Компетенция рассказчика, тяготеющая к знакам-символам, позволила автору активировать такие ресурсы поэтики повествования как метатекст, интертекст, эквивалентность. Эффект литературного «изобретения» региона достигается за счет референциальной привязки описываемых реалий к узнаваемым художественным формам классики XIX в.

Ключевые слова: В. К. Арсеньев, диалогия, «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», воображение региона, семиотика, нарратология, интертекстуальность

Информация об авторе: Кирилл Владиславович Анисимов, доктор филологических наук, профессор, Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева, ул. Ады Лебедевой, д. 89, 660049 г. Красноярск, Россия. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6543-397X>

E-mail: kianisimov2009@yandex.ru

Дата поступления статьи в редакцию: 09.02.2026

Дата одобрения статьи рецензентами: 11.04.2026

Дата публикации статьи: 25.09.2026

Для цитирования: Анисимов К. В. Судить «о вещах так, каковы они есть на самом деле»: Дерсу Узала, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой и семиотика // Два века русской классики. 2026. Т. 8, № 3. С. 158–195. <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2026-8-3-158-195>



This is an open access article
distributed under the Creative
Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0)

Dva veka russkoi klassiki,
vol. 8, no. 3, 2026, pp. 158–195. ISSN 2686-7494
Two centuries of the Russian classics,
vol. 8, no. 3, 2026, pp. 158–195. ISSN 2686-7494

Research Article

© 2026. Kirill V. Anisimov

Viktor Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University
Krasnoyarsk, Russia

Judging “Things as They Really Are”: Dersu Uzala, A. S. Pushkin, L. N. Tolstoy, and Semiotics

Acknowledgments: This work was carried out at Viktor Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University with financial support from the Russian Science Foundation, project no. 25-18-00071, <https://rscf.ru/project/25-18-00071/>

Abstract: This article explores the artistic understanding and cultural imagination of a newly acquired region during its territorial integration. In V. K. Arsenyev’s case, this is the southern part of the Russian Far East. The focus is on the dualism characteristic of such historical experience — that of the traveler, symbolizing state power, and the local aborigine. One specific area of analysis is the poetics of communication: Arsenyev demonstrates that his characters speak, name, and think about objects differently. Examined from a semiotic perspective, Dersu Uzala’s communicative strategy reveals a predominance of indexical signs, which imply the interpretation of meaning through indirect signs and traces. The narrator’s expertise, gravitating toward symbolic signs, enabled the author to utilize narrative poetics resources such as metatext, intertext, and equivalence. The effect of the literary “invention” of the region is achieved through the referential linking of the described realities to recognizable artistic forms of 19th-century classics.

Keywords: V. K. Arsenyev, the duology “Across the Ussuri Land,” “Dersu Uzala,” imagination of a region, semiotics, narratology, intertextuality

Information about the author: Kirill V. Anisimov, DSc in Philology, Professor, Viktor Astafyev Krasnoyarsk State Pedagogical University, Ada Lebedeva St., 49, 660049 Krasnoyarsk, Russia. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6543-397X>

E-mail: kianisimov2009@yandex.ru

Received: February 09, 2026

Approved after reviewing: April 11, 2026

Published: September 25, 2026

For citation: Anisimov, K. V. “Judging ‘Things as They Really Are’: Dersu Uzala, A. S. Pushkin, L. N. Tolstoy, and Semiotics.” *Dva veka russkoi klassiki*, vol. 8, no. 3, 2026, pp. 158–195. (In Russ.) <https://doi.org/10.22455/2686-7494-2026-8-3-158-195>

В ходе государственного строительства и территориально-политической интеграции этнически неоднородных пространств проблема языка ожидаемо делалась одной из ключевых. Попадая в оптику художественной литературы, языковая коммуникация становилась при этом слагаемым образотворчества и начинала существенно влиять на поэтику и в целом смысловую организацию произведения. Случай В. К. Арсеньева, создателя отечественной имагологии Дальнего Востока, предстает в этой перспективе важным как в историко-, так и в теоретико-литературной перспективе.

«Там <...> помирай есть моя жена и мои дети. <...> Тут раньше моя живи, раньше здесь юрта была и амбар»; «Моя думай, это дым <...>. Ветер нету, который сторона гори, понимаю не могу» [Арсеньев 1: 238, 290], — словесные комбинации, построенные по моделям, характерным для языка Дерсу Узала, героя арсеньевской прозы, широко тиражировались в позднесоветском русском языке (вероятным катализатором послужили экранизации произведений писателя Агаси Бабаяном в 1961 г. и Акирой Куросавой в 1975 г.), редуцировавшись до популярной идиомы «моя твоя не понимаю» [Перехвальская: 165] и соседствуя в фолк-культуре с общераспространенными анекдотами о чукче [Михайлин].

Как показала Джоанна Николс, использование глагола в императиве вместо спрягаемой формы, притяжательных местоимений вместо личных, вспомогательного «есть» после глагола является чертой русско-китайского пиджина, распространенного на дальневосточном пограничье [Nichols: 186–187; 188]. При этом американский славист подметила, что помимо фиксации слов героя как информанта, Арсеньев демонстрирует собственную лингвистическую компетенцию, последовательно внедряя в речь Дерсу фрагменты из других источников рубежа XIX–XX вв., фиксировавших контакты с аборигенами. Это обстоятельство, в свою очередь позволяет говорить об учете читатель-

ских ожиданий [Nichols: 190], а значит — о превращении языка в образный конструкт. И прямым выходом к поэтике исследователю здесь видится смыслообразующее для всего нарратива соположение Дерсу с автобиографическим повествователем как понимающего язык природы — с непонимающим. «Самые яркие примеры такого рода знания даны во фрагментах, в которых Дерсу читает следы и трактует их Арсеньеву» [Nichols: 191]¹. Навыки героя достигли такого совершенства, что по следам «он угадывал даже душевное состояние животных», — цитирует и переводит соответствующий пассаж из книги автор статьи [Nichols: 191–192]². Многочисленные состояния воздуха и освещения, положение листьев и ветвей, отпечатки на почве и т. д. герой использует как словарь природы, считывая и переводя ее знаки-индексы.

Причем для читателя, который, конечно, не обязан знать грамматические особенности пиджина, речь Дерсу также становится последовательностью индексальных знаков — «приметой» русского языка, отсылкой к нему. В известной мере языковое поведение туземца можно уподобить сказу³ — речи «четко отделенного от автора личного

¹ Ввиду очевидности историко-культурного подтекста мы оставляем здесь за скобками изобретение французского просвещения — образ мудрого дикаря. О нем применительно к Дерсу см.: [Слезкин: 145–146; 403–404]. О французских истоках образа см.: [Акимов: 346–347]. Давний обширный очерк темы см.: [Fairchild]. Хейден Уайт показал, что «благородный дикарь» был не этно- или расово обусловленным образом, а представлял собой конструкт Нового времени, проецируемый на низшие классы, требовавшие равноправия. См.: [White]. Привлеченный нами материал обнаруживает похожую тенденцию: рассказчик Арсеньева неоднократно говорит о «первобытном коммунизме» Дерсу, а в послевоенном СССР двум произведениям об этом герое был уготован непреходящий статус постоянно переиздаваемой классики. Так, с 1934 г. по 1983 г. только книга «Дерсу Узала» была напечатана на русском языке 27 раз. См.: [Тарасова: 6].

² Эти «криминалистические» способности героя подробно освещены в: [Коровашко: 202–216] (гл. «Яркий представитель Амуро-Уссурийской семиотической школы»). О Шерлоке Холмсе как возможном прообразе см.: [Коровашко: 233].

³ В созданных одновременно с арсеньевскими записках П. П. Бордакова роль Дерсу-сказителя более выражена и в одном из эпизодов подчеркнута метапозицией: «— А, моя не умею рассказывать <...> — Умеешь! не стесняйся!» [Бордаков 3: 375].

рассказчика, который характеризуется ограниченным умственным и языковым горизонтом». И далее В. Шмид точно подмечает: «Сказ снижает референтность повествования “гипертрофией характерности” и преобладанием косвенных индексикальных знаков над прямыми референтными...» [Шмид: 300].

Двумя часто цитируемыми фрагментами сочинений Арсеньева о Дерсу являются авторское замечание из предисловия к книге «По Уссурийскому краю», где говорится о том, что «гольд (нанец. — К. А.) положительно читал следы, как книгу, и в строгой последовательности восстанавливал все события» [Арсеньев 1: 47]¹, а также сцена, в которой туземец упрекал русских:

Какой народ! — говорил он в сердцах. — Так ходи, головой качай — все равно как дети. Глаза есть — посмотри нету. Такие люди в сопках живи не могу — скоро пропади [Арсеньев 1: 472].

Уподобление природы книге — характерная для писателя XX в. модернизация, литературно-философская по своему происхождению². Автор говорит о способностях своего героя на рациональном языке тропов — в данном случае сравнений и метафор. Самому Дерсу этот язык чужд: что такое книга как представленное в знаковых формах опосредование информации, ее архив, он, конечно, знать не может. Как в принципе не приемлет никакого вида опосредования. Существенным комментарием здесь является один из финальных эпизодов книги «Дерсу Узала». Потеряв чернильницу и забыв ее название на русском языке, герой так описал назначение предмета:

Одни слова, говорил он, выходят из уст человека и распространяются вблизи по воздуху. Другие закупорены в бутылку. Они садятся на бумагу и уходят далеко. Первые пропадают скоро, вторые могут жить сто годов и больше [Арсеньев 1983: 415]³.

¹ М. К. Азадовский относит сближение *природы* и *книги* к самому началу формирования литературной манеры Арсеньева. См.: [Азадовский: 188].

² У параллели *природа* / *книга* античные истоки. См.: [Лебедев: 61–69].

³ Этот важнейший фрагмент, будучи, очевидно, более поздним привнесением, отсутствует как в первопубликации 1923 г. (см.: [Арсеньев 1923: 221]), так и в ориентированном на нее 1-м томе новейшего собр. соч.

Рассматриваемое в подобном ключе, письмо обретает чисто иконическую природу. Оно не медирует звучащую речь, а уподобляется голосу¹, точнее — *является* голосом, только «садящимся», подобно птице², на бумагу. «Мифологическое отождествление, — как отметили применительно к похожим случаям Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский, — имеет принципиально внетекстовый характер, вырастая на основе неотделимости названия от вещи» [Лотман, Успенский: 300]. Будучи совокупностью конвенциональных знаков, текст находится за пределами сознания Дерсу, и единственной доступной ему формой «чтения» как ориентации в окружающем мире становится понимание следов — второй, согласно Ч. С. Пирсу, разновидности знаков, так называемых индексов, которые идут в его классификации сразу за иконами:

Все, что фиксирует наше внимание, есть индекс. Все, что пугает нас, есть индекс, поскольку оно отмечает соединение двух частей опыта. <...> Полярная звезда, так же как и указывающий палец, есть индекс, с помощью которого мы узнаем путь на север [Пирс: 206–207].

Неудивительно, что о Полярной звезде, одном из главных с точки зрения человека индексальных знаков природы, говорит и Дерсу:

— Посмотри, капитан, — сказал он, — эта маленькая «уикта» (звезда).

Я долго не мог разобраться, на какое светило он указывал, и, наконец после разъяснений понял, что он говорил про Полярную звезду.

— Это самый главный люди, — продолжал гольд. — Его всегда один место стоит, а кругом его все «уикта» ходят [Арсеньев 1: 475].

В центре нашего внимания два классических сочинения Арсеньева, — «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», оконченных в течение 1916 г. и опубликованных одно за другим в 1921 и 1923 гг. Мы постара-

¹ Причем в этой перспективе сам голос тоже считается не акустическим передатчиком информации, а персонификацией говорящего; любое воспроизведение голоса является для Дерсу речью одушевленного собеседника — см. эпизод с фонографом, с помощью которого речь героя была записана на «валик» [Арсеньев 1: 634]. Отмечено в: [Яроцкая 2013: 58].

² Ср. свод поэтических метафор, сближающих слово с птицей и, в частности, — с почтовой птицей: [Кожевникова, Петрова: 178–189].

емя прояснить семиотическую природу и художественные функции языка главного героя, а также увязать его речевую деятельность с нарративной поэтикой обоих произведений. Другими словами, характерные для фронтирного региона языковые гибриды, воспроизведенные в художественном тексте, будут интересовать нас как источник приемов, скрепляющих повествование, а также как обширная область культурно-семиотического эксперимента, предпринятого автором, который тонко и точно разграничивает знаковые формы, создавая, по-видимому, единственно полезный для существования человека во фронтирной зоне образец многоплановой кодировки словесного сообщения.

Для начала сделаем несколько общих замечаний и выдвинем основные тезисы работы.

Языковой массив арсеньевских текстов разделен границами трех дискурсов: а) научного, в рамках которого автобиографическое Я говорит «от лица» универсального знания; б) собственно речи рассказчика как участника событий и ключевой повествовательной инстанции; в) речи Дерсу.

Главным приемом внутри научного дискурса является перевод. Понимать его нужно с необходимой широтой: перед нами не просто решение автором технической задачи в стремлении познакомить читателей с неизвестными им реалиями. Будучи военным администратором и исследователем имперских окраин, Арсеньев и его автобиографический alter ego демонстрируют самый настоящий «стиль интеллектуального обладания», как определил подобную стратегию Ларри Вульф, опирающийся здесь на Мишеля Фуко [Вульф: 40]. Всякая рубрикация объекта, включение в таксономию, передача индигенного иноязычия средствами «своих» лексики и грамматики, рассмотрение частных фактов как эпифеноменов общего и т. п. свидетельствуют о неукоснительном срабатывании описанного Фуко механизма знания / власти — основы ориентализма. Перевод у Арсеньева двупланов. Он включает раздачу явлениям флоры и фауны «правильных» латинских наименований, а также замену китайских топонимов русскими¹. Так дикие обитатели,

¹ Политика переименований была для Арсеньева тем более важна, что, по его словам, «еще в 1895 году китайский чиновник из гор. Нингуты поднимался вверх по р. Уссури и р. Улахэ до Ното. Здесь на столбе он в последний раз вывесил объявление о том, что все китайское и инородческое население Уссурийского Края подвластно Императору Великой

подведенные под стандартные определения, укрощались, а местность, преобразенная в хорошо читаемую карту, ставилась под контроль. Например, страшный хозяин уссурийской тайги, имя которого Дерсу с ужасом произносит только на своем родном языке¹, делается “*Felis tigris longipilis zitz*” [Арсеньев 1: 189] — комфортной абстракцией, сошедшей со страниц зоологического справочника.

«Повседневная» речь рассказчика — явление более сложное. Помимо общей аранжировки действия и наполнения его необходимым жизнеподобием писатель-путешественник, ведущий дневник, воссоединяет свой текст с богатым ресурсом литературных форм, явные и неявные выходы к которым открывает его эрудиция. Показателен повтор эпизодов: рассказчик читает своим спутникам сначала Пушкина, а некоторое время спустя — Гоголя. Риторика эпизодов прозрачна: автор и его герой «говорят» не только от лица науки, но и высокой культуры. Можно предположить, что в перечне используемых семиотических инструментов канон играет ту же роль, что латинская терминология, русская топонимика и картографирование местности — он выступает способом переозначить, но на сей раз не территорию и ее обитателей, а сам текст, сообщить ему большую смысловую глубину, выйти за пределы утилитарных задач отчета о поездке, травелога и эго-документа. Кроме того, уже на этом этапе постановки проблемы необходимо отметить характерное для Арсеньева прочное укоренение структуры действия и его агентов в нарративах о русском продвижении на восток. Герой-покоритель (протагонист) увязан с символическим центром (в данном случае это Хабаровск), действует через посредника (Дерсу)², испытавшего многократный ущерб от антагонистов: конкурентный по отношению к русскому опыт китайской колонизации края постоянно обсуждается на страницах диалогии³. Аналогичная схема действия за-

Поднебесной империи». См.: работу Арсеньева «Китайцы в Уссурийском крае. Очерк историческо-этнографический» [Арсеньев 3: 374].

¹ По некоторым данным, тигр был тотемом нанайского рода Одзял, которому принадлежал Дерсу [Егорчев 2014: 48].

² Об этом в связи с мотивом помощи см. [Яроцкая 2017].

³ Антикитайский компонент «имперской ситуации» на Дальнем Востоке, деятельным участником которой был Арсеньев, привлекал внимание ряда специалистов. См.: [Егорчев 2016: 51–79; Glebov]. С поправкой на методологические ориентиры советского времени: [Якимова: 26–27].

метна в классических нарративах о походе Ермака, например, в Строгановской летописи, положенной Карамзиным в основу его рассказа о завоевании Сибири (6-я глава 9-го тома «Истории государства Российского», 1821 г.). Ермак соединен противоречивыми связями с Москвой, действует через посредников — уральских купцов Строгановых, неоднократно страдавших от хана Кучума.

В эстетическом фокусе Арсеньева — образ и речь Дерсу. Отличительным свойством его языка является неперевоидимость. И хотя по понятным причинам на чисто лингвистическом уровне писатель иногда вносит легкую правку в пиджин своего героя [Перехвальская: 96], в основном он стремится представить гольда носителем уникальных коммуникативных компетенций, а также, разумеется, сознания, которое они репрезентируют. Между Дерсу и «капитаном», как именует туземец главу русской экспедиции, всякий раз наблюдается языковая и повествовательная граница. Случаи переделки речи героя, согласно описанному Б. А. Успенским правилу преобразования «овнешненного» персонажа во внутренне открытого для читателя и с этой целью лишаемого автором изначально присущей экзотики языка (например, картавости) [Успенский 1995: 72–75], на страницах диалогии крайне редки и всякий раз художественно мотивированы. Оставаясь *Другим*, Дерсу благодаря Арсеньеву сохраняет свою первозданную субъектность. Насколько этот прием композиционного построения служит реализации общего замысла, позволит установить дальнейший анализ.

Излишне говорить, что каноничность фигуры Пушкина, напряженное всматривание в образ которого было доведено серебряным веком до известного эмоционального и эстетического предела [Паперно 1992], превращает любое открытое упоминание о поэте на страницах литературного произведения в знаковый эпизод, претендующий на особую роль. Такой фрагмент будет стремиться занять «выносную» позицию, сделаться метатекстом. Помещенная в 3-ей главе книги «Дерсу Узала» (гл. «Охота за козулями») сцена чтения рассказчиком вслух «Сказки о рыбаке и рыбке», специально выделенная в дайджестном авторском пересказе («Сказка о рыбаке и рыбке. — Мнение гольда» [Арсеньев 1: 417]), относится к явлениям именно этого порядка.

На другой день вечером, сидя у костра, я читал стрелкам сказку «О рыбаке и рыбке». Дерсу в это время что-то тесал топором. Он перестал рабо-

тать, тихонько положил топор на землю и, не изменяя позы, не поворачивая головы, стал слушать. Когда я кончил сказку, Дерсу поднялся и сказал:

— Верно, такой баба много есть. — Он даже плюнул с досады и продолжал:

— Бедный старик. Бросил бы он эту бабу, делал бы оморочку (лодку. — К. А.) да кочевал бы на другое место.

Мы все расхохотались. Сразу сказался взгляд бродячего туземца. Лучший выход из этого положения, по его мнению, был — сделать лодку и перекочевать на другое место. Поздно вечером я подошел к костру. На дровах сидел Дерсу и задумчиво глядел на огонь. Я спросил его, о чем он думает.

— Шибко жалко старика. Его был смиренный люди. Сколько раз к морю ходи, рыбу кричи — наверно, совсем стоптал свои унты.

Видно было, что сказка о рыбаке и рыбке произвела на него сильное впечатление [Арсеньев 1: 421–422].

Во-первых, перед нами первый из тех считанных примеров, когда речь Дерсу грамматически верна: «Бедный старик. Бросил бы он эту бабу, *делал бы оморочку да кочевал бы на другое место* (Курсив мой. — К. А.)»¹. Мало того — одной своей частью она даже совпадает со словом рассказчика, откликнувшегося на ремарку героя: «Сразу сказался взгляд бродячего туземца. Лучший выход из этого положения, по его мнению, был — *сделать лодку и перекочевать на другое место*». На мгновение, отмеченное чтением Пушкина, сознание аборигена «переведено» автором на общедоступный язык и соединено с читательским. Дерсу оценивает гениальную сказку в два хода, и если первая реакция скорее наивна, то второй вывод («Шибко жалко старика» и т. д.) вполне зрел и с любой точки зрения справедлив.

Во-вторых, эпизод, как и положено «сильным» фрагментам, наделен повышенной ассоциативностью. И первое, что может прийти здесь на ум, — сбывшаяся мечта Пушкина-автора стихотворения «Я памятник себе воздвиг...». Много лет спустя после безвременной гибели создателя новой русской литературы «слух» о нем все-таки прошел «по всей Руси

¹ Здесь и далее в цитатах, кроме особо оговоренных случаев, курсив мой. — К. А. В приведенной цитате едва заметно искажен только вид глагольных форм. Для исчерпывающей корректности Дерсу следовало бы прибегнуть к совершенному виду: «сделал бы», «откочевал бы». Именно так поступает рассказчик, воспроизводящий речь героя.

великой», и вот «дикий Тунгус» знакомится с его творчеством. Пушкин, как ему и хотелось, сделался скрепой имперского пространства.

В-третьих, многими нитями, что и требуется от метатекста, сцена чтения увязана с ядерными, матричными структурами авторского сознания, производящими итоговое эстетическое завершение¹. Сказка Пушкина — один из первых в русской литературе анализов так называемого «треугольного желания» (Р. Жирар), механика которого противоположна простому стремлению улучшить собственное положение (пушкинская старуха достигает благополучия по исполнению уже первых двух ее требований — корыта и хорошей избы). В его основе — ревнивая зависть субъекта к мечтам и возможностям *других* располагать благами: желание делается, согласно Р. Жирару, «миметическим». Герой ориентируется не на свои потребности, а на чужой образ (третье и последующие повеления старухи связаны не с имуществом, а с повышением ее статуса), становящийся по отношению к нему «медиатором», способным предоставить вождельный «объект». Так оформляется «треугольник», который в иной перспективе уместно рассматривать как схему злого и саморазрушительного ресентимента, одного из признаков новой морали эпохи модерна².

Объектом ненависти, — отмечает Р. Жирар, — может стать только тот человек, который мешает нам удовлетворить желание — притом, что сам же его внушил. Ненавидящий ненавидит прежде всего самого себя и за своей ненавистью скрывает потаенное преклонение. Пытаясь скрыть от других и от себя самого это отчаянное преклонение, он отказывается видеть в своем образце что-либо, кроме препятствия [Жирар: 40].

Неудивительно, что врагом старухи сперва становится ее безропотный муж — непосредственный поставщик желаемых благ. Затем, зако-

¹ Супруга Арсеньева вспоминала, что писатель использовал шедевр Пушкина с назидательными целями. «“Сказку о рыбаке и рыбке” часто читал Воле (сыну. — К. А.) с намеком: будь скромн и не жадничай!» [Арсеньева: 306].

² О характерном для Нового времени переживании субъектом мстительной ревности («когда каждый имеет “право” сравнивать себя с каждым и “не может сравниться реально”») как отправном пункте ресентимента см.: [Шелер: 20–22; 31–32].

номерно, противником и потенциальной жертвой делается само «божество» — всемогущая рыбка. А в основе — ничем не ограниченный консьюмеризм старухи, ее «желание желать» без конца и ограничений, пределом чему может быть только сам порядок мироздания.

Избегая в своей дилогии лобового морализаторства на экологические темы, Арсеньев задает читателю нарративные (скорее даже нарратологические) загадки, в которых роль притчи о золотой рыбке должна проявиться. По мысли автора, приверженца всемерного продвижения России на Дальнем Востоке, антиподом русского утверждения в крае является китайская колонизация. Речь, разумеется, не о китайцах в узко-этническом смысле, а о способе эксплуатации природы — когда все ее дары вычерпываются полностью и до дна. Вот лишь один пример из специальных разысканий, которые предпринимал Арсеньев-путешественник.

Но вот возвратились манзы (дальневосточные китайцы. — К. А.), пришли с охоты и инородцы. Лихорадочная деятельность охватывает все китайское население. Это время скупки пушнины, время расчетов и расплаты с должниками. Изголодавшийся ороч (нанаец. — К. А.) озабочен не тем, как бы выгоднее продать своих соболей (китайцы будут брать их у него по цене, которую сами назначат), а о том, как бы только при подсчете с кредиторами они не отобрали бы у него оружие, жену и ребенка [Арсеньев 3: 420].

Если кратко затронуть самоочевидные идеологемы обеих анализируемых книг, то они иллюстрированы известными особенностями поведения Дерсу: не бить дичь сверх меры («Напрасно стреляя — худо, грех» [Арсеньев 1: 292]), не уничтожать лишние припасы, а оставлять их на съедение разным «людям», населяющим тайгу, и т. д.

В предложенном ракурсе внимание на себя могут обратить два эпизода. Первый видим буквально через несколько страниц в главе 6-ой «Наводнение».

<...> Дерсу взял котелок и пошел за водой. Через минуту он возвратился крайне недовольный.

— Что случилось? — спросил я гольда.

— Моя думай, это место худое, — отвечал он на мой вопрос. — Моя река ходи, хочу воды бери, рыба ругается.

— Как ругается? — изумились стрелки и покатались со смеху.

— Чего ваша смеется? — сердился Дерсу. — Плакать скоро будете.

Наконец, я узнал, в чем дело. В тот момент, когда он хотел зачерпнуть котелком воды, из реки выставилась голова рыбы. Она смотрела на Дерсу и то открывала, то закрывала рот.

— Рыба тоже люди, — закончил Дерсу свой рассказ. — Его тоже могу говори, только тихо. *Наша его понимай нету* [Арсеньев 1: 447].

Еще в самом начале диалогии, во 2-й главе книги «По Уссурийскому краю», мы узнаем, что у Дерсу вообще непростые отношения с рыбалкой¹. «Моя постоянно охота ходи, другой работы нету, *рыба лови понимай тоже нету*, только один охота понимай» [Арсеньев 1: 60]. Дерсу — зверолов, а не удильщик. Мы можем предположить, с чем связана проблема: рыба, в отличие от зверя, не оставляет следов. Ее таинственный подводный ход невидим, трехмерен, то есть лишен плоскостной топографичности², и потому перестраивает саму логику ловли: традиционный рыбак не преследует свою добычу (современные технологии морского промысла, равно как и сюжеты в духе «Моби Дика», мы оставляем в стороне), он *ждет* ее *появления*, каковое может случиться, а может — нет. «Раз он в море закинул невод, — / Пришел невод с одною тинной. / Он в другой раз закинул невод...» и т. д. Как известно, удачливость добытчиков особенным образом отмечена именно в случае рыбаков.

Дерсу от всего этого старается держаться подальше. Недаром, в отличие от наивного пушкинского старика, он сразу воспринял появление рыбы как дурное предзнаменование: «Плакать скоро будете». Присущий арсеньевскому герою навык чтения / понимания языка природы, многолетнего успешного выживания в системе знаков-индексов решительно противостоит азартному опыту рыбалки, то есть контакту с неизвестным³. Рыба, высунувшаяся из воды и заговорившая с героем

¹ Деталь навеяна реальностью. В предисловии к книге «По Уссурийскому краю» Арсеньев отметил, что гольды с р. Улахе, к которым относился Дерсу, «живя в таких местах, где рыбы было мало, а тайга изобиловала зверем, <...> на охоту обратили все свое внимание» [Арсеньев 1: 47].

² В этой связи заслуживает внимания параллель между рыбой и птицей — см.: [Башляр: 304].

³ Понятая в этом ключе, то есть как экспансия чистого случая, рыбалка будет напоминать карточные игры, особенно те из них, которые подразумевают полную неопределенность исхода [Лотман: 395 и сл.].

на непонятном языке¹, — предел его понимания бытия. А рыба, постав-
ляющая, как у Пушкина, блага по ненасытному требованию «заказчи-
ка», — за таковым пределом. Тем не менее покажем динамику обра-
за. Пушкинская сказка рационально аллегорична, хотя и воспринята
гольдом в виде истории из жизни. Вынырнувшая рыба — это история
из жизни, но увиденная героем в оптике мифа. Последний этап в этом
семиозисе — полное стирание семиотичности рыбы, использование ее
исключительно в аспекте грубой телесности.

Обратимся к третьему эпизоду в интересующей нас цепочке. Неко-
торой проблемой оказывается его расположение: он является частью
предыдущей книги, «По Уссурийскому краю». По этой причине видеть
в нем осмысленное отражение пушкинского метатекста «Дерсу Узала»
затруднительно. С другой стороны, известны одновременное рождение
двух главных произведений Арсеньева в 1916 г. [Кузьмичев: 132; 138]²,
их диффузное строение, взаимная проницаемость, «наплывание» друг
на друга, в частности — кросс-текстовые симметрии, увязывающие
оба сочинения, повторы авторских описаний и положений, в которых
оказались персонажи [Яроцкая 2005: 108–112], — словом, стремление
исследователей говорить о дилогии и даже трилогии (с добавлением
травелога «В горах Сихотэ-Алиня») вполне обосновано [Тарасова: 37;
Плотникова: 185].

Речь идет о небольшом рассказе в составе 29-ой главы «Вверх по
реке Тютихе» книги «По Уссурийскому краю», где сообщается о китай-
ском освоении ресурсов региона. Описывается рыбалка.

¹ Вообще неспособность рыб издавать звуки привычным для сухопут-
ных животных образом, то есть посредством рта, делает немому водных
обитателей базовым признаком, на фоне которого «говорение» рыбы
становится выделенным приемом. Ср. в гоголевских «Записках сумас-
шедшего»: «Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова
на таком странном языке, что ученые уже три года стараются опре-
делить и еще до сих пор ничего не открыли» [Гоголь: 111].

² М. К. Азадовский указывает, что на этапе подготовки пагинация обе-
их книг была единой и уменьшалась от исходного числа «около 1000
страниц» до итогового «838 страниц» [Азадовский: 184]. По данным
А. И. Тарасовой, работа над текстом велась вплоть до января 1917 г.
[Тарасова: 49].

Часов в пять мы подошли к зверовой фанзе. Около нее я увидел своих людей. <...> В фанзе, кроме солдат, находился еще какой-то китаец. <...> У китайцев было много кабарожьего мяса и рыбы, пойманной заездами.

Китайская заездка устраивается следующим образом: при помощи камней река перегораживается от одного берега до другого, а в середине оставляется небольшой проход. Вода просачивается между камнями, но большая ее часть идет по руслу к отверстию и падает в решето, связанное из тальниковых прутьев. Раза два или три в сутки китаец осматривает его и собирает богатую добычу [Арсеньев 1: 273].

Безыскусная, в общем-то, заметка обретет особое звучание, если ее поставить в один ряд с приведенными выше историями о чудесной рыбе. Китайскийловец не закидывает невод, не ждет свою добычу и не беседует с ней. Он преграждает течение реки плотиной (примечательное совпадение с сюжетами будущей «деревенской прозы»), делает в ней единственное отверстие, контролируемый коридор для рыбы, попадая в который, *вся она* в итоге отказывается в решете. Безальтернативность рыбьей судьбы (плотина — русло — отверстие — решето) обесмысливает момент ловли, напряженного балансирования между удачей и провалом — словно сказка о жадной старухе начата сразу с финала, где участь быть использованной грозит самой исполнительнице желаний. Именно так, через границу между двумя книгами, закольцован пушкинский метатекст. Он вызван к жизни вопросом о том, сбалансированы ли желание, естественное слагаемое человеческой натуры, и исчерпаемость другой Натуры — в которой этот человек существует. Чуть ниже, в главе 32-ой «От реки Мутухе до Сеохобе», Дерсу и рассказчик в один голос выносят вердикт китайскому присутствию в крае:

— Всё кругом скоро манза совсем кончай, — сказал он. — Моя думай, еще десять лет — олень, соболю, белка пропади есть.

Со словами Дерсу нельзя было не согласиться. У себя на родине китайцы уничтожили все живое. У них в стране остались только вороны, собаки и крысы. Даже в море, вблизи берегов, они уничтожили всех трепангов, крабов, моллюсков и всю морскую капусту. Богатый зверем и лесами Приамурский Край ожидает та же участь, если своевременно

не будут приняты меры к борьбе с хищничеством китайцев [Арсеньев 1: 296]¹.

Вновь повторим: дело, конечно, не в китайцах самих по себе. Да и никакого «треугольного желания», приметы современного сознания, в их поведении, как оно описано Арсеньевым, не наблюдается. Они живут «естественно», никому не завидуя и лишь используя подвернувшиеся возможности. «По их (китайцев. — К. А.) словам, нужно быть очень ленивым человеком, чтобы, имея под рукой “тазов” (окитаенных местных аборигенов. — К. А.), в течение 8–10 лет не скопить 50000 р. Накопив денег, китаец ни за что не останется в Приамурье; он непременно уйдет на родину» [Арсеньев 3: 420]. Философский вопрос адресуется не столько субъекту, сколько самому процессу неограниченного потребления, ведущему к полному исчерпанию ресурса, — и вот здесь пушкинская старуха и рыболовы, вычерпывающие из рек всю рыбу посредством плотин и плетеного решета, вполне способны организовать образную пару. Оба типа отношения к окружающему миру в итоге оказываются губительными.

Как показала Ю. А. Яроцкая, Арсеньев вновь прибегает к текстам Пушкина при описании метели [Яроцкая 2005: 107]. В главе 28-ой «Нападение тигра» книги «Дерсу Узала» читаем:

Ветер описывал большой круг, возвращался на наш бивак и нападал на кедр, стараясь во что бы то ни стало опрокинуть его на землю. <...> Мне пришло на память стихотворение Пушкина «Метель», потом я вспомнил пургу около озера Ханка и снежную бурю при переходе через Сихотэ-Алинь [Арсеньев 1: 619].

Исследователь увязывает заглавие отсутствующего на самом деле в пушкинском наследии стихотворения «Метель» с «Бесами» — решение исправить ошибку памяти Арсеньева справедливое, однако весь круг источников оно не охватывает. Упомянуть здесь стоит и повесть «Метель», и всю ту линию произведений, которую эта часть «Повестей Белкина» инициирует [Нагина: 6]. При всем том, что сюжеты Пушки-

¹ Сентенция рассказчика — буквальный повтор сказанного ранее в очерке о китайцах [Арсеньев 3: 435].

на для любого отечественного писателя являются всеобъясняющими, сама ситуация взаимодействия, в том числе в метель, власть имущего с «естественным человеком» подталкивает к опыту Толстого, который одной из своих главных художественных задач всегда считал исследование наивного сознания¹. Толстой для Арсеньева — отчетливый, хоть и неназываемый ориентир.

Судя по взятой в кавычки формуле «хозяин и работник», которую Арсеньев использовал в очерке китайской колонизации («В большинстве случаев у русских “хозяин и работник” — два враждебных лагеря» [Арсеньев 3: 392]), писатель знал знаменитый толстовский рассказ 1895 г. В нем соединены обе отмеченных темы: а) выживание заблудившихся в снежном буране, б) проверка смертельным испытанием состоятельности героев, принадлежащих двум разным социальным мирам. Опорным текстом нам послужит глава 6-ая «Пурга на озере Ханка» (книга «По Уссурийскому краю»), которая в качестве отдельного целого уже привлекала внимание исследователей, а кроме того, давала основания говорить о ее существенной литературности — в противовес прямолинейной фактографичности².

Пушкинские клише пронизывают оба сочинения — и рассказ Толстого, и зарисовку Арсеньева. В «Хозяине и работнике» сельский грамотей цитирует по учебнику стихотворение «Зимний вечер»:

Петруха в шубе стоял с своею лошадыю посередине двора и говорил, улыбаясь, стихи из Паульсона. Он говорил: «Буря с мглою небо скроить, вихри снежные крутить, аж как зверь она завоить, аж заплачет как дитё» [Толстой 29: 23].

Рассказчик Арсеньева черпает из других источников, но все равно из Пушкина:

¹ Неслучайным здесь видится общий для Толстого и Арсеньева и, как утверждают исследователи, крайне редкий для русской литературы интерес к местному пиджину — см.: [Перехвальская: 77].

² Изучавший рукописи Арсеньева И. Н. Егорчев показал, что с описания именно этого похода автор начинает беллетристическую обработку своего дневника [Егорчев 2016: 20–21]. См. также: [Яроцкая 2008; Гуминский: 565–566]. О внимании Арсеньева к творчеству Толстого — см. в воспоминаниях жены: [Арсеньева: 306].

Около полудня мы с Дерсу дошли до Ханки. Грозный вид имело теперь пресное море. Вода в нем кипела, как в котле. После долгого пути по травяным болотам вид свободной водяной стихии доставлял большое удовольствие. Я сел на песок и стал глядеть в воду [Арсеньев 1: 90].

«Свободная стихия» взята из стихотворения «К морю», а само это вдруг помрачневшее «море» — опять-таки из «Сказки о рыбаке и рыбке».

Сбившись в снежном урагане с дороги, герои, олицетворяющие власть, всецело подчинились в переломный момент каждый своему «близкому к природе» спутнику. У Толстого:

Василий Андреич молчал, как бы предоставив уже всё Никите. <...> Василий Андреич уже не приказывал ничего, а покорно делал то, что говорил ему Никита [Толстой 29: 27].

У Арсеньева:

Ночью во время пурги нам приходилось оставаться среди болот, без огня и без теплой одежды. Единственная моя надежда была на Дерсу. В нем одном я видел свое спасение [Арсеньев 1: 92]¹.

И в этот момент гольд начинает приказывать:

— Слушай, капитан! — сказал он. — Хорошо слушай! Надо наша скоро работай. Хорошо работай нету — наша пропал. Надо скоро резать траву [Арсеньев 1: 92].

В обоих случаях путники решили заночевать посреди бушующей непогоды, а отличием выступило своеволие толстовского «хозяина», который вдруг начал самостоятельные поиски дороги, выбился из сил и тем обрек себя на смерть. Для арсеньевского «капитана», опытного таежного исследователя, подобная оплошность невозможна, он полно-

¹ Этимологически мотивированным повтором *одежды* / *надежды* отмечены полюса всей ситуации: отсутствие спасительной вещи — упование на выручку со стороны спутника.

стью доверился навыкам Дерсу и потому спасся. Наряду с безрассудной попыткой самому выйти из ледяной западни, Брехунов совершил еще одну ошибку: он не пожелал ночевать с Никитой рядом — телом к телу:

Теплее бы вместе, да вдвоем не усядемся, — сказал он. — Я место найду, — отвечал Никита. <...> Никита зашел за спинку саней, выкопал себе там, в снегу, ямку, положил в нее соломы... [Толстой 29: 30].

Желание «накрыть» собой замерзающего работника пришло к герою гораздо позднее, и в целом этот мотив интерполирует повествование скорее со стороны религиозной программы Толстого-моралиста, стремившегося подвести закосневшего во грехе человека к точке его «воскресения». Напротив того, Арсеньев всемерно подчеркивает постоянное соприкосновение, теснейшее соседство Дерсу с его товарищем, забившихся на ночлег в наскоро построенный ими соломенный шалаш.

— Капитан! Подвинься...

Я сделал над собой усилие и прижался в сторону. Гольд вполз под палатку, лег рядом со мной и стал покрывать нас обоих своей кожаной курткой. Я протянул руку и нащупал на ногах у себя знакомую мне меховую обувь [Арсеньев 1: 93].

Этого пунктирного сопоставления вполне достаточно, чтобы показать, насколько осознанно и целенаправленно писатель-путешественник XX в. впитывал опыт великого романиста. Россыпь эпизодических заимствований из «словаря» толстовской поэтики, конечно, гораздо богаче, разнообразнее и в будущем, вероятно, подлежит кропотливой детализации. Так, подмеченная Ю. А. Яроцкой знаковая деталь — смерть Дерсу возле железной дороги [Яроцкая 2005: 76], — тоже может быть рассмотрена в свете Толстого, поскольку явно перекликается с финалом «Анны Карениной».

Безотносительно к частным сюжетно-мотивным схождениям путеводная нить к Толстому позволила Арсеньеву приблизиться к более точной концептуализации наивного сознания. Далее снова речь пойдет об эксперименте со знаковыми формами — приеме, который писатель раз за разом воспроизводит.

Поскольку основной чертой такого сознания является безразличие к принципу опосредования¹, оно, будучи избранным в качестве главного объекта, может вывести автора на определенный уровень рефлексии, подтолкнуть литературный текст в направлении к металитературе, так как антисемиотичное миропонимание Дерсу оказывалось в контрпозиции по отношению ко всякой знаковой деятельности, включая и саму художественную словесность. Сравним собранные Арсеньевым в последней главе второй книги протесты туземца против регламента городской жизни и финансовых отношений — типовое для сюжетной ситуации «дикарь в городе» неприятие знаковых конвенций и подмен:

Как! — опять закричал он. — За воду тоже надо деньги плати? Посмотри на реку, — он указал на Амур, — воды много есть. Землю, воду, воздух Бог даром давал [Арсеньев 1: 636] и т. д.

Хорошо известно, что изобретателем такого рода рефлексии в отечественной эстетике был Толстой. Говоря о постоянном балансировании художника между «литературой» и «не-литературой»², Б. М. Эйхенбаум процитировал одну из его педагогических статей, в которой автор описывал опыт общения с яснополянскими детьми (носителями наивного сознания, аналогами Дерсу) [Эйхенбаум: 411–412].

Лев Николаевич, — сказал Федька <...>, — а для чего учиться пенью? Я часто думаю, право, — зачем петь? <...> «А зачем рисование, зачем хорошо писать?» сказал я, решительно не зная, как объяснить ему, для чего искусство. «Зачем рисование?» повторил он задумчиво. Он именно спрашивал: зачем искусство? Я не смел и не умел объяснить [Толстой 8: 46].

Присвоенное себе Толстым «неуменье объяснить» означало характерное для его исканий затемнение границы между «художеством» и «жизнью», текстом и реальностью, сомнение во всякой дескриптивности, иногда доходившее у создателя великих романов до полного разу-

¹ Характеризуя своего героя, создатель «Дерсу Узала» использует входящий к Э. Тайлору термин «анимизм» — см.: [Арсеньев 1: 62 и сл.].

² Специально об этом извечном толстовском дуализме см.: [Паперно 2018: 47–56].

верения в коммуникативной детальности. Сравним запись в позднейшем дневнике за 1909 г. (с автоаллюзией к нашумевшей статье 1908 г. «Не могу молчать»):

Ах, если бы только отвечать, когда спрашивают, и молчать, молчать. Если не было противоречием бы написать о необходимости молчания, то написать бы теперь: *Могу молчать. Не могу не молчать* (Курсив автора. — К. А.) [Толстой 57: 6].

Проблема имеет семиотическое измерение. А. К. Жолковский и Б. А. Успенский увязали итоговый эффект толстовского «контр-семиозиса» (понятие, предложенное К. Поморской), во-первых, с открытым еще В. Б. Шкловским остранением, то есть намерением описать предмет кардинально иначе, чем диктовали языковая инерция и литературная привычка [Жолковский], а во-вторых — с принципиальной для Толстого этической антитезой *правды* и *лжи*, за одним из полюсов которой, то есть ложью, закреплялось производство знаков. Парадоксальным образом получалось, что *правда* могла быть выражена только без участия семиозиса:

<...> Отношение Толстого к языку как средству социального общения
<...> резко отрицательное: язык принуждает нас лгать [Успенский 2004: 36].

С этой точки зрения Дерсу Узала удивительно, в истинно толстовском смысле *правдив*. Опуская очевидные по своим идеологическим задачам эскапады «наивного» (на самом деле, конечно, глубокомысленного) героя против миражей денег, собственности, городского комфорта и пр., а также ремарки вторящего ему рассказчика («Я видел перед собой первобытного охотника, который <...> чужд был тех пороков», что «вместе с собой несет городская цивилизация» [Арсеньев 1: 60] и т. д.), подчеркнем эпизоды диалогии, испытавшие заметное влияние со стороны старшего классика.

Ключевое свойство языка, обусловившее его репрезентативную функцию, — разграничение означающего и означаемого. Однако согласно убеждению, которое исповедовал Толстой, такого разделения быть не должно. «Символический», по определению Ч. С. Пирса, знак

вызывает у создателя «Войны и мира» острое неприятие. Весьма вероятно, формула «ничего не означать», а точнее — «быть, а не означать», оказалась бы самой подходящей для описания того смыслового предела, к которому устремлено авторское сознание у Толстого. На этом горизонте интеллектуально-эстетического поиска показан и арсеньевский Дерсу. Так, герой протестует даже против «символичности» собственного имени. Дневники путешественника сохранили знаменательную сцену, отсутствующую в дилогии.

Ночь он провел с нами. Мы предложили ему поступить к нам на службу за жалованье, одежду и стол. Гольд подумал и решил дать ответ утром. Имя его Дерсу, а фамилия Узала. На мой вопрос, как перевести на русский язык его фамилию и имя, или что это значит на языке гольдов. На это он мне ответил, что это ничего не значит, а просто имя и фамилия [Арсеньев 5. 1: 150].

Безотносительно к возможному табуированию имени, характерному для архаических коллективов, главный эффект, производимый дневниковой записью, — это отказ героя от всякой трактовки. В таком случае имя оказывается звукообразом, непосредственно привязанным к его носителю, — минуя все потенциальные звенья-посредники (предок, тотем, святой-покровитель и т. д.). На выходе получаем тавтологию, в которой означающее словно склеено с означаемым: Дерсу — это Дерсу¹.

Аналогичный пример видим в ориентированном на Толстого пассаже, в котором толкуются значения небесных светил.

До восхода солнца было еще далеко, но звезды стали уже меркнуть. На востоке, низко над горизонтом, была видна комета. Она имела длинный хвост.

Скоро проснулись остальные люди и принялись рассуждать о том, что предвещает эта небесная странница. Решили они, что земля обязана ей своим недавним наводнением, а Чжан-Бао сказал, что в той стороне, куда направляется комета, будет война. Видя, что Дерсу ничего не говорит, я спросил его, что думает он об этом явлении.

¹ Опыт научного разъяснения имени героя см. в: [Коровашко: 31].

— Его так сам постоянно по небу ходи, людям никогда мешай нету, — отвечал гольд равнодушно.

— При всем своем антропоморфизме он был прав и судил о вещах так, каковы они есть на самом деле.

— Но вот на востоке стала разгораться заря, и комета пропала. <...> Яркие солнечные лучи вырвались из-под горизонта и разом осветили все море.

— Дерсу, — спросил я его, — что такое солнце?

— Он посмотрел на меня недоумевающе и, в свою очередь, задал вопрос:

— Разве ты никогда его не видал? Посмотри, — сказал он и указал рукой на солнечный диск, который в это время поднялся над горизонтом.

— Все засмеялись. Дерсу остался недоволен. Как можно спрашивать человека, что такое солнце, когда это самое солнце находится перед глазами? Он принял это за насмешку [Арсеньев 1: 468].

Очевидно, что после «Войны и мира» появление на страницах любого позднейшего произведения дискуссий о кометах, особенно как о знамениях войны, не может не отсылать к роману-эпопее и факту победы над Наполеоном. Визионером и толкователем знаменитой большой кометы 1811 г. выступал у Толстого Пьер Безухов. С нею у героя сразу установились какие-то особые отношения: он увидел в появлении хвостатой звезды провиденциальный намек, адресованный ему лично. После счастливого объяснения с Наташей «Пьеру казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его расцветшей к новой жизни, размягченной и ободренной душе» [Толстой 10: 375]. Наивысшего подъема тема достигает в сцене пресловутых эзотерических подсчетов, с помощью которых Пьер хотел прояснить сакраментальный смысл своего личного участия в большой истории:

Его любовь к Ростовой, Антихрист, нашествие Наполеона, комета, 666, l'empereur Napoléon и l'Russe Besuhof, все это вместе должно было созреть, разразиться и вывести его из того заколдованного, ничтожного мира <...> и привести его к великому подвигу и великому счастью [Толстой 11: 79].

В сознании Безухова, вдруг ощутившего свою миссию и в навязчивых мечтах сравнившегося с покорителем полумира — императором французов, комета сделалась главным видимым символом грядущего апокалиптического действия, в котором Пьер вознамерился сыграть едва ли не главную роль. С учетом сказанного выше, ирония Толстого понятна: ночные светила, красота которых способна отзываться в душевных движениях Безухова или позднее Левина, будучи волевым образом превращены в некий «текст», который обязан что-то человеку разъяснить, не значат, с точки зрения автора, ровным счетом ничего.

Как ничего они не значат для Дерсу. Герой Арсеньева, верящий, например, в то, что человеческая душа буквально поселяется в белке-лестяге [Арсеньев 1: 270], согласился бы с романистом всецело. Во всяком случае, обращенный к воззрениям гольда комментарий рассказчика («судил о вещах так, каковы они есть на самом деле») близок известному толстовскому определению, прозвучавшему в «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана» (1894): «Художник только потому и художник, что он видит предметы не так, как он хочет их видеть, а так, как они есть» [Толстой 30: 20].

Индексальный знак не столько *значит*, сколько *указывает*: реально лишь то, что видимо или иным рецептивным образом ощутимо по частям, позволяющим «достроить» целое. Индекс не имеет никакого иного смысла, дополнительного к своей явленности в наглядном при знаке. Так, уже известный нам диалог рассказчика с Дерсу о Полярной звезде продолжен характерным разделением позиций офицера, взыскующего символических значений, и его визави, отстаивающего чистую индексальность. Наблюдая за метеором (падающей звездой), туземец констатирует: «Одна “уикта” упала». «Капитан» внутренне не соглашается:

Я думал, что *он свяжет* это явление с рождением или со смертью человека, даст ему религиозную окраску. Ничего подобного. Явление простое: одна звезда упала [Арсеньев 1: 475].

И далее Дерсу подчеркивает элементарно-указующий характер события: «Китайские люди говорят, — добавил он, — там, где упала звезда, надо искать жень-шень» [Арсеньев 1: 475]. Указывающий мо-

мент налицо, связывающий («он свяжет...»), присущий символу, — отсутствует. В то время как для рассказчика звёзды — самостоятельные объекты, способные что-то значить, в глазах его собеседника они лишь служебные индикаторы в общеприродном целом.

Примечательно, что и в сюжетном переломе дилогии, а именно в потере героем острого зрения, а вместе с ним навыков стрелка, можно усмотреть авторский эксперимент со знаками-индексами. Попутно отметим важность эпизода на уровне риторики. Традиционные романы обычно сообщают о душевном *прозрении* героя — в этом мотиве все существо романа как повествования об изменчивом человеке новой эпохи. Дерсу прозреть не может, так как правда мира открыта ему заведомо — значение солнца, например, определяется присутствием светила на небосклоне: «Разве ты <...> его не видал? *Посмотри*» (помимо прочего, еще один редкий случай отмены пиджина). Герой Арсеньева, однако, может потерять свою пронизательность чисто физически, то есть буквально перестать видеть «предметы <...> как они есть», что в итоге и происходит.

— Пахнет, — сказал он шепотом, — люди есть.

— Какие люди?

— Кабаны, — отвечал гольд. — Моя запах найди есть.

Как я ни нюхал воздух, но никакого запаха не ощущал. <...> Я выстрелил и уложил поросенка.

На обратном пути я спросил Дерсу, почему он не стрелял в диких свиней? Гольд ответил, что не видел их, а только слышал шум в чаще, когда они побежали [Арсеньев 1: 566].

В таком случае, сохраняя и донося до реципиента лишь свой след (в данном случае — запах и звук), но скрывая сущность, индекс делался пустым знаком, то есть знаком в собственном смысле — обманчивой заменой предмета. Для героя это означало переход в иное семиотическое пространство, дезориентацию и смерть. Воспроизведенные далее писателем сцены городского быта здесь ничего не добавляли, оказываясь в композиционном отношении скорее послесловием.

Важно, кроме того, что гибельная семантика роковой охоты («тогда я не знал, что это маленькое происшествие было повесткой к трагическим событиям...» [Арсеньев 1: 566], — взволнованно заметил рассказ-

чик) поддержана эквивалентностью, отсылающей к предыдущей части диалоги. В 27-й главе первой книги «По Уссурийскому краю», названной в гоголевском духе «Проклятое место», рассказывалось, как глава экспедиции на заре знакомства с Дерсу уже чуть не убил своего друга, охотясь вместе с ним опять-таки на кабанов.

Едва я вступил на опушку леса, как сразу наткнулся на кабанов, но выстрелить не успел. <...> Сквозь чащу я видел, как что-то мелькнуло. Выбрав момент, когда темное пятно остановилось, я приложился и выстрелил. В то же мгновение я услышал человеческий крик и затем болезненный стон. Безумный страх овладел мной. Я понял, что стрелял в человека, и кинулся через заросли к роковому месту. То, что я увидел, поразило меня как обухом по голове. На земле лежал Дерсу.

— Дерсу! Дерсу! — закричал я не своим голосом и бросился к нему. <...>. Я тормошил его и торопливо, испуганно спрашивал, куда попала пуля.

— Спина больно, — отвечал он.

Я спешно стал снимать с него верхнюю одежду. Его куртка и *нижняя рубашка были разорваны*. <...> Заметив волнение, он стал меня успокаивать:

— Ничего, капитан! Тебе виноват нету. Моя назади был. Как тебе понимай, что моя впереди ходи [Арсеньев 1: 250].

Офицер, как позднее Дерсу, не видит цель и бьет вслепую. Помимо этого, весьма значимо выделенное нами словосочетание «нижняя рубашка». Когда Дерсу говорил о своих охотничьих успехах, он всякий раз именовал рубашкой шкуру трофея, пробитую пулей. Так и в печальной сцене осознания гольдом своей беспомощности:

— Раньше никакой люди первый зверя найти не могу. Постоянно моя первый его посмотри. Моя стреляй — *всегда в его рубашке дырку делай*. Моя пуля никогда мимо ходи нету. Теперь моя пятьдесят восемь лет. Глаз худой стал, посмотри не могу. <...> Как теперь моя дальше живи? [Арсеньев 1: 582].

Симметрии такого рода увязывают охотника с добычей, а также с русским другом, едва не ставшим его невольным убийцей, в какое-то необычное целое — жизненное и одновременно гибельное. А охота на

кабана предстает индикатором расцвета и заката отношений Дерсу с «капитаном». Фундаментальная нераздельность обоих заметна, в частности, на уровне лексики, которую использует повествующий субъект. Так, социальное амплуа Арсеньева — *исследователь*. «Что значит путешествие? В чем заключается работа исследователя? К сожалению, для этого какого-нибудь катехизиса дать нельзя» [Арсеньев 1: 104], — раскрывает свое кредо глава экспедиции. В свою очередь, Дерсу — *следопыт*. «Тогда я понял, что Дерсу не простой человек. Передо мной был следопыт, и невольно мне вспомнились герои Купера и Майн Рида» [Арсеньев 1: 63]. Миссии обоих героев содержат семантику индексальности: след — путь к объекту.

В науке уже говорилось о том, что Арсеньев винил в смерти туземца себя. В письме к В. Г. Богоразу от 14 сентября 1929 г. писатель сетовал: «Дерсу действительно погиб только потому, что я увел его из тайги в город. Я до сих пор не могу себе этого простить...» [Цит. по: Гуминский: 565]. За кратко отмеченными здесь соответствиями проглядывают неявные очертания какой-то общей жизни, силы, единой героев друг с другом и с окружающим их миром независимо от языковых и мировоззренческих отличий. В заключение обратимся к этому аспекту темы.

Итак, если герою, ослабевшему зрением, мир перестал быть видимым, то есть индексы природы больше не вели к предметам, с которыми они были связаны, значит, следопыт потерял направление, утратил способность ориентироваться. История этой потери положена в основу сюжета дилогии, который можно абстрагировать к трем главным положениям: сначала Дерсу выступает проводником-помощником, а в ряде случаев — спасителем русского офицера, пришедшего в тайгу; затем гольд переживает кризис и сознает его причину (так сказать, обратное прозрение); наконец роли меняются, и русский офицер пытается — безуспешно — прийти на выручку своему другу и увести его из леса в город. Крайние точки сюжета замыкаются в цикл. Таким строением композиции Арсеньев вновь утверждает старый толстовский тезис о всеобщей неиерархической связи всего живого:

Мало сказать, что в каждом человеке такая же душа, как и во мне: в каждом человеке живет то же самое, что живет во мне. <...> Мы сердцем чувствуем, что то, чем мы живем, то, что мы называем своим настоящим

«я», то же самое не только в каждом человеке, но и в собаке, и в лошади, и в мыши, и в курице, и в воробье, и в пчеле, даже и в растении [Толстой 45: 47; 50].

Реализация этой программы на уровне поэтики подразумевает организацию множественных эквивалентных сочетаний, пронизывающих повествование и сообщающих каждому знаковому событию неслучайность, включенность в систему более высокого уровня, чем само это отдельное событие.

Например, опустошающее ресурсы региона природопользование, практикуемое местными китайцами, показано, в том числе, в виде параллели *зверей*, гибнущих в ямах (земляных ловушках), / *людей*, закапываемых заживо¹. Сравним главу 27-ую «Проклятое место» и главу 25-ую «Ли-Фудзин» книги «По Уссурийскому краю».

Неподалеку от скалы находилась лудева, то есть забор, преграждавший доступ животным к водопою. <...> Ночью олени идут к воде, натываются на забор и, пытаясь обойти его, попадают в ямы. Такие лудевы тянутся иногда на 50 верст с лишним и имеют около двухсот действующих ям.

Лудева на реке Вангоу была заброшена. Видно было, что китайцы не навешали ее уже давно. В одной из ям мы нашли матку изюбря (дальневосточное название благородного оленя. — К. А.). Бедное животное попало туда, видимо, суток трое тому назад. Мы остановились и стали рассуждать о том, как его спасти. Один из стрелков хотел было спуститься в яму, но Дерсу посоветовал не делать этого. <...> В две петли, брошенные на землю, изюбр попал ногами, третью набросили ему на голову и быстро вытащили наверх. Казалось, что он задохся. Но едва петли были сняты, он тотчас начал ворочать глазами. Отдышавшись немного, олень поднялся на ноги и, шатаясь, пошел в сторону <...>

Дерсу ужасно ругал китайцев за то, что они, бросив лудеву, не позаботились завалить ямы землею [Арсеньев 1: 252].

Вскоре после полудня мы дошли до знакомой нам фанзы Июлайзы. Когда мы проходили мимо тазовских фанз, Дерсу зашел к ним. К вечеру он прибежал испуганный и сообщил страшную новость: два дня тому назад

¹ Специально об этом мотиве см.: [Glebov: 29].

по приговору китайского суда заживо были похоронены в земле китаец и молодой таза. Такое жестокое наказание они понесли за то, что из мести убили своего кредитора. Погребение состоялось в лесу, в версте расстояния от последних фанз. Мы бегали с Дерсу на это место и увидели там два невысоких холмика земли. Над каждой могилой была поставлена доска, на которой тушью были написаны фамилии погребенных. Усопшие уже не нуждались в нашей помощи, да и что могли сделать мы вчетвером среди многочисленного, хорошо вооруженного китайского населения!? [Арсеньев 1: 239].

Расположенные по соседству и при внимательном прочтении соединяемые в целое, фрагменты производят вполне определенный риторический эффект, направляя читательское внимание и на исторический конфликт, возникший в ходе освоения края (оба раза, сначала успешно, потом безуспешно, герои стремятся помочь жертвам), и на более общую проблему единства жизни — человеческой и животной.

Крайне показателен другой пример. Здесь в рамках трехступенчатого развития соотнесены 1) несчастная судьба погибшей от оспы семьи Дерсу, вследствие чего он навсегда остался одиночкой, 2) явившиеся герою во сне его жена и дети, которые страдают в загробном мире от голода, 3) судьба обездоленной семьи аборигенов, воочию наблюдаемых в реальном времени рассказа «капитаном» и его преданным другом.

О горькой доле туземца-проводника читатель узнает сразу при знакомстве с ним в главе 2-ой «Встреча с Дерсу» книги «По Уссурийскому краю»:

— Все давно помирай <...>. Он помолчал немного и продолжал снова:

— У меня раньше тоже жена была, сын и девчонка. Оспа все люди кончай. Теперь моя один остался... [Арсеньев 1: 61].

Второй этап развертывания этой образной цепи — сон Дерсу, о котором он поведал рассказчику. Речь идет о главе 4-ой «Первый поход» книги «Дерсу Узала». Сперва офицер становится свидетелем уединения своего спутника и свершения им обряда: сидя ночью у костра, гольд призывал крик птицы, а услышав его, вылил в огонь чашку спирта, бросил «листья табаку, сухую рыбу, мясо, соль, чумизу, рис, муку, ку-

сок синей дабы, новые китайские улы (зимняя обувь. — К. А.), коробок спичек и наконец пустую бутылку» [Арсеньев 1: 433].

Старик поднял голову и посмотрел на меня такими глазами, в которых я прочитал тоску. Я сел против него у огня. Минут пять сидели мы молча. В это время опять повторился крик ночной птицы. Дерсу спешно поднялся с места и, повернувшись лицом в ту сторону, что-то закричал ей громким голосом, в котором я заметил нотки грусти, страха и радости. <...>.

Я не расспрашивал его, что все это значит; я знал, что он сам поделится со мною — и не ошибся. <...>

Я не прерывал его. Тогда он рассказал мне, что прошлой ночью он видел тяжелый сон: он видел старую развалившуюся юрту и в ней свою семью в страшной бедности. Жена и дети зябли от холода и были голодны. Они просили его принести им дров и прислать теплой одежды, обуви, какой-нибудь еды и спичек. То, что он сжигал, он посылал в загробный мир своим родным, которые, по представлению Дерсу, на том свете жили так же, как и на этом. Тогда я осторожно спросил его о криках ночной птицы, на которые он отвечал своими криками.

— Это «Ханяла» (душа. — К. А.), — ответил Дерсу. — Моя думай, это была жена. Теперь она все получила. Наша можно в фанзу ходи [Арсеньев 1: 433].

Третья сцена (глава 9-ая «Такема») конструктивно повторяет вторую, только на сей раз в виде обратного соответствия. Несчастливая семья, словно уподобившись жене и детям Дерсу, вззирающим на этот мир с того света, потеряла отца и мать, умерших от оспы. Они удалились *туда*, а остальные находятся *здесь*.

Около устья реки Илимo мы нашли две маленькие полуразрушенные фанзочки. В одной из них жила *старуха* с внучатами: мальчиком девяти и девочкой семи лет. У этих детей отец и мать умерли от оспы два года тому назад. Китайцы воспользовались беззащитностью старухи и обобрали ее дочиста, отняли жилище, огороды, кур, свиней и даже собак. <...> Я застал семью в ужасной бедности. Мальчик ловил рыбу и тем кормил старуху и свою сестренку. <...>

Мне стало жаль старуху, и я дал ей три рубля [Арсеньев 1: 481].

Отметим поправку Арсеньева на возраст персонажей: в новой зарисовке действует бабка с внуками, а не молодая женщина с детьми. Но ведь и Дерсу выше назван стариком. Его жена осталась молодой навсегда. Останься она в живых, и она бы постарела. А вот мальчик и девочка повторяют «сына и девчонку» из рассказа героя о его семье. В свою очередь, подателем благ, подобно Дерсу во время его ритуала, выступает русский офицер, подаривший несчастной три рубля. Риторика приведенного соответствия прозрачна: если контакт с иным миром — компетенция мудрого туземца, душе которого открыты незримые окна бытия, то обустройство сирот в этой земной юдоли — прерогатива государства, от лица которого в свой черед действует «капитан».

Подведем итоги. Поэтически откликаясь на открытия Толстого, в частности, его видение подлинной человеческой коммуникации, обязанной, как считал романист, выйти за пределы конвенционального общения посредством знаковых форм, Бунин высказал в 1916 г. известную мысль: «Нет в мире разных душ и времени в нем нет!» [Бунин: 139]. Новая эпоха усилила давнее подозрение, что единство жизни расположено за пределами языковой реальности — и потому бунинское стихотворение начато декларацией «Поэзия темна, в словах не выражима», субверсивный характер которой обратил на себя внимание исследователей. «Логически невозможная формула», — охарактеризовала сентенцию поэта Т. М. Двинятина [Двинятина: 251]. В науке первые десятилетия XX в. считаются временем всеобъемлющего эксперимента в области языковых средств художественности, эксперимента, начатого еще поздним реализмом (Толстой и Чехов) и продолженного далее модернизмом и авангардом. Одна из главных новаций в числе прочих — сосредоточенность авторов на наивном сознании, в котором теперь видится не столько идеологический след Руссо, сколько артефакт «мифического мышления» с присущей ему иконичностью — отождествлением слова и вещи, соответствием «между порядком дискурса и порядком рассказываемой истории» [Шмид: 301; 303] и т. д.

Пиджин Дерсу Узала воспринимается читателем в двоякой перспективе: как язык грамматически *чужой* («с ошибками», — часто звучит в трудах об Арсеньеве), но одновременно, на интуитивном уровне, как *свой* — ввиду его детскости, наивности. В этом смысле, к чему подталкивал и опыт Толстого, язык героя становился выражением какой-то неуловимой обычными рецептивными средствами правды о мире. Языковая

и мировоззренческая несхожесть рассказчика и героя заметна, обыгрывается на страницах диалоги постоянно, однако характерного для ориентализма говорения европейца «за» туземца, «вместо» туземца¹ мы не наблюдаем. Стратегия «подчиняющего» перевода направлена скорее на китайские языковые реалии, а не на язык и сознание Дерсу. В ключе тогдашней науки рассказчик называет это сознание «анимистическим» — отстраненное определение повисает в воздухе, отсылая к Э. Тайлору, но не подминает природного естества персонажа. Вообще важно отметить, что известный современным исследователям и, очевидно, спонтанно рефлектируемый самим Арсеньевым ориенталистский «миф о ленивом дикаре» [Alatas] был тщательно просеян на пути от эго-документа к художественному тексту. Потому отдельные свойства личности реального Дерсу (а в их числе — лень, нечистота, алкоголь, опиум), очевидные для многих наблюдателей, оставивших параллельные арсеньевским записки о походах², были ретушированы, и в итоге, как позднее не раз отмечалось, читатель познакомился со слегка идеализированным героем.

В воспроизведенных Арсеньевым ситуациях общения отсутствует мотив непонимания, часто встречавшийся у Толстого и Чехова и в целом характерный для лингвистически неоднородного текста. Мы видим этот мотив лишь в сетованиях Дерсу по поводу экологической безграмотности несведущих в таежной жизни русских. То есть автором сделан акцент не на коммуникативном конфликте, каковой отсутствует, а на невладении навыком распознавания индексов (следов, запахов, состояний атмосферы и т. д.). Меж тем эффект глубокого взаимного понимания, наивысшего единения героев с природой и друг другом достигается безотносительно к языковой несхожести — средствами метатекста и отчасти текста в тексте (Пушкин; момент единства в культуре), интертекста (влияние Толстого; индикатор встроенности в традицию), поэтики нарративных эквивалентностей (момент целостности замысла и его воплощения).

¹ Согласно Саиду, европейский исследователь-ориенталист сам «конструирует» для восточных текстов «форму повествования, связность и образы», поскольку «наука» для него «состоит из попыток обойти непокорную (не-западную) не-историю (non-history)» [Саид: 239].

² См.: [Бордаков. 4: 467; 5: 607; 7: 864]. Плохо скрываемым раздражением по адресу Дерсу именно как «дикаря» проникнуты мемуары жены Арсеньева [Арсеньева: 302; 314].

Никто из двух главных участников сюжета, рассказчик и герой, не посягает на мировоззренческую автономию друг друга. Это обстоятельство зримо контрастирует с поэтикой того же «Хозяина и работника», где Никита без остатка ввергнут во власть Брехунова. Вследствие этого их взаимодействие окрашено постоянными коммуникативными неудачами, хотя в лингвистическом отношении они говорят на одном и том же языке.

Да я понимаю, Василий Андреич; кажется, служу, стараюсь, как отцу родному. Я очень хорошо понимаю, — отвечал Никита, очень хорошо понимая, что Василий Андреич обманывает его... <...>.

— Бегу ей настоящего нет, снежно, — сказал Василий Андреич, гордясь своей хорошей лошадей. — Я раз в Пашутино ездил на нем же, так он в полчаса доставил.

— Чего? — спросил, не расслышав из-за воротника, Никита. <...> [Толстой 29: 5; 9] и т. д.

Один из решающих для всей диалогии эпизодов, известный нам диалог Дерсу с отошедшей в иной мир семьей, именно диалог, так как герой слышит обращенный к нему ответ, содержит такую ремарку рассказчика: «Я не расспрашивал его, что все это значит; я знал, что он сам поделится со мною — и не ошибся». Слова арсеньевского alter ego свидетельствуют об опыте человеческого понимания, вырабатываемого поверх всех языковых и социокультурных различий, опыте, который, по-видимому, автор считал необходимым условием реального освоения и символического воспроизведения новообретенного края.

Список литературы

Источники

Арсеньев В. К. Дерсу Узала. Из воспоминаний о путешествии по Уссурийскому краю в 1907 г. Владивосток: Типо-лит. Т-ва изд. «Свободная Россия», 1923. 255 с.

Арсеньев В. К. По Уссурийскому краю. Дерсу Узала / послесл. И. Кузьмичева. М.: Правда, 1983. 447 с.

Арсеньев В. К. Собр. соч.: в 6 т. Владивосток: Рубеж, 2007–2022.

Арсеньева А. Мой муж — Володя Арсеньев. Воспоминания / публ. Г. Пермякова, послесл. И. Егорчева // Рубеж. 2006. № 8. С. 281–337.

Бордаков П. На побережье Японского моря. Из дневника // Юная Россия. 1914. № 1–12.

К. В. Анисимов. Судить «о вещах так, каковы они есть на самом деле»:
Дерсу Узала, А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой и семиотика

Бунин И. А. Стихотворения: в 2 т. / вступ. ст., сост., подг. текста, примеч. Т. М. Двинятиной. СПб.: Изд-во Пушкинского Дома, Вита Нова, 2014. Т. 2. 544 с.

Тоголь Н. В. Петербургские повести / изд. подг. О. Г. Дилакторская. СПб.: Наука, 1995. 296 с.

Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Худож. лит., 1928–1958.

Исследования

Азадовский М. К. В. К. Арсеньев — путешественник и писатель // *Азадовский М. К. Сибирские страницы: Статьи, рецензии, письма*. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1988. С. 147–225.

Акимов Ю. Г. Северная Америка и Сибирь в конце XVI — середине XVIII в.: Очерки сравнительной истории колонизаций. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. 372 с.

Баиляр Г. Избранное: Поэтика пространства. М.: РОССПЭН, 2004. 376 с.

Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М.: НЛЮ, 2003. 560 с.

Гуминский В. М. Русская литература путешествий в мировом историко-культурном контексте. М.: ИМЛИ РАН, 2017. 605 с.

Двинятина Т. М. Поэзия И. А. Бунина: Эволюция. Поэтика. Текстология: дис. ... докт. филол. наук. СПб., 2015. 441 с.

Егорчев И. Н. «Загадки» Дерсу Узала. Владивосток: Изд-во Дальневосточного федерального ун-та, 2014. 180 с.

Егорчев И. Н. Неизвестный Арсеньев. Владивосток: Изд-во Дальневосточного федерального ун-та, 2016. 164 с.

Жирав Р. Ложь романтизма и правда романа. М.: НЛЮ, 2019. 352 с.

Жолковский А. К. Зеркало и зазеркалье. Лев Толстой и Михаил Зощенко // *Жолковский А. К. Блуждающие сны и другие работы*. М.: Наука, 1994. С. 122–138.

Кожевникова Н. А., Петрова З. Ю. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв. Вып. 1: «Птицы». М.: ЯРК, 2000. 480 с.

Коровашко А. В. По следам Дерсу Узала. Тропами Уссурийского края. М.: Вече, 2016. 256 с.

Кузьмичев И. Писатель Арсеньев. Личность и книги. Л.: Сов. писатель, 1977. 237 с.

Лебедев А. В. Логос Гераклита. Реконструкция мысли и слова. СПб.: Наука, 2014. 533 с.

Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф — имя — культура // *Ученые записки Тартуского государственного университета*. Вып. 308. Труды по знаковым системам. Т. VI. Тарту, 1973. С. 282–303.

Лотман Ю. М. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века // *Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 т.* Таллин: Александра, 1992. Т. 2. С. 389–415.

Михайлин В. Ю. Всесоюзный туземец: чукча в анекдоте и кино // *Имагология и компаративистика*. 2016. № 2. С. 146–154.

Нагина К. А. Метельные пространства русской литературы (XIX — начало XX века). Воронеж: НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2011. 129 с.

Паперно И. Пушкин в жизни человека Серебряного века // *Cultural Mythologies of Russian Modernism. From the Golden Age to the Silver Age*. Berkley, LA, Oxford: Univ. of California Press, 1992. P. 19–51.

Паперно И. «Кто, что я?»: Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах. М.: НЛЮ, 2018. 232 с.

Перехвальская Е. В. Русские пиджины. СПб.: Алетейя, 2008. 363 с.

Пирс Ч. С. Избранные философские произведения М.: Логос, 2000. 412 с.

Плотникова Н. И. В. К. Арсеньев: творческая индивидуальность писателя. Жанровое своеобразие прозы: дис. ... канд. филол. наук. Владивосток, 2003. 243 с.

Саид Э. Ориентализм. М.: Музей соврем. искусства Гараж, 2021. 560 с.

Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. М.: НЛЮ, 2008. 512 с.

Тарасова А. И. Владимир Клавдиевич Арсеньев. М.: Наука, 1985. 344 с.

Успенский Б. А. Поэтика композиции // Успенский Б. А. Семиотика искусства. М.: ЯРК, 1995. С. 9–218.

Успенский Б. А. Пушкин и Толстой: тема Кавказа // Успенский Б. А. Историко-филологические очерки. М.: ЯСК, 2004. С. 27–48.

Шелер М. Ресентимент в структуре моралей. СПб.: Наука, 1999. 231 с.

Шмид В. Проза как поэзия. Пушкин, Достоевский, Чехов, авангард. СПб.: ИНА-ПРЕСС, 1998. 352 с.

Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой: исследования. Статьи. СПб.: Фак-т филологии и искусств, 2009. 952 с.

Якимова Л. П. Многонациональная Сибирь в русской советской литературе. Новосибирск: Наука, 1982. 229 с.

Яроцкая Ю. А. Творчество В. К. Арсеньева. Специфика научно-художественной системы: дис. ... канд. филол. наук. Владивосток, 2005. 187 с.

Яроцкая Ю. А. Художественные особенности книги В. К. Арсеньева «По Уссурийскому краю» (опыт анализа главы «Пурга на озере Ханка») // *Смысловое пространство текста*. Вып. 8. Петропавловск-Камчатский: Изд-во Камчатск. гос. ун-та им. В. Беринга, 2008. С. 140–149.

Яроцкая Ю. А. Прямая речь: отражение этнокультурной ментальности героя в текстах В. К. Арсеньева // *Смысловое пространство текста*. Вып. 12. Петропавловск-Камчатский: Изд-во Камчатск. гос. ун-та им. В. Беринга, 2013. С. 56–61.

Яроцкая Ю. А. Мотив помощи и образы помощников в текстах В. К. Арсеньева // Ойкумена. 2017. № 3. С. 65–73.

Alatas S. H. *The Myth of the Lazy Native*. London: Frank Cass, 1977. 267 p.

Fairchild H. N. *The Noble Savage. A Study in Romantic Naturalism*. NY: Columbia Univ. Press, 1928. 535 p.

Glebov S. *The Political Ecology of Vladimir Arsen'ev* // *Sibirica*. 2020. Vol. 19, no. 3. P. 15–36.

Nichols J. *Stereotyping Interethnic Communication: The Siberian Native in Soviet Literature* // *Between Heaven and Hell. The Myth of Siberia in Russian Culture*, ed. by G. Diment and Y. Slezkine. NY: St. Martin's Press, 1993. P. 185–214.

White H. The Noble Savage: Theme as Fetish // White H. Tropics of Discourse. Essays on Cultural Criticism. Baltimore: The Johns Hopkins Univ. Press, 1978. P. 183–196.

References

Azadovskii, M. K. “V. K. Arsenëv — puteshestvennik i pisatel” [“V. K. Arsenëv — the Traveler and the Writer”]. Azadovskii, M. K. *Sibirskie stranitsy: Stat'i, retsenzii, pis'ma* [Siberian Pages: Articles, Reviews, Letters]. Irkutsk, East-Siberian Publishing House, 1988, pp. 147–225. (In Russ.)

Akimov, Yu. G. *Severnaia Amerika i Sibir' v kontse XVI — seredine XVIII v.: Ocherki sravnitel'noi istorii kolonizatsii* [North America and Siberia in the Late 16th — Mid-18th Centuries: Essays on the Comparative History of Colonization]. St. Petersburg, St. Petersburg State University Publ., 2010. 372 p. (In Russ.)

Bashliar, G. *Izbrannoe: Poetika prostranstva* [Selected Works: The Poetics of Space]. Moscow, ROSSPEN Publ., 2004. 376 p. (In Russ.)

Wolff, L. *Izobretaiia Vostochnuiu Evropu. Karta tsivilizatsii v soznanii epokhi Prosveshcheniia* [Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization in the Mind of the Enlightenment]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2003. 560 p. (In Russ.)

Guminskii, V. M. *Russkaia literatura puteshestvii v mirovom istoriko-kul'turnom kontekste* [Russian Travel Literature in the Global Historical and Cultural Context]. Moscow, IWL RAS Publ., 2017. 605 p. (In Russ.)

Dviniatina, T. M. *Poeziiia I. A. Bunina: Evoliutsiia. Poetika. Tekstologiiia* [Ivan Bunin's Poetry: Evolution. Poetics. Textual Criticism: DSc Dissertation]. St. Petersburg, 2015. 441 p. (In Russ.)

Egorchev, I. N. “Zagadki” *Dersu Uzala* [Dersu Uzala's Enigmas]. Vladivostok, Far-Eastern Federal University Publ., 2014. 180 p. (In Russ.)

Egorchev, I. N. *Neizvestnyi Arsenëv* [The Unknown Arsenëv]. Vladivostok, Far-Eastern Federal University Publ., 2016. 164 p. (In Russ.)

Zhirar, R. *Lozh' romantizma i pravda romana* [The Lies of Romanticism and the Truth of the Novel]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2019. 352 p. (In Russ.)

Zholkovskii, A. K. “Zerkalo i zazerkal'e. Lev Tolstoi i Mikhail Zoshchenko” [“Mirror and Beyond the Mirror. Leo Tolstoy and Mikhail Zoshchenko”]. Zholkovskii, A. K. *Bluzhdaiushchie sny i drugie raboty* [Wandering Dreams and Other Works]. Moscow, Nauka Publ., 1994, pp. 122–138. (In Russ.)

Kozhevnikova, N. A., and Z. Iu. Petrova. *Materialy k slovariu metafor i sravnenii russkoi literatury XIX–XX vv. Vyp. 1: “Ptitsy”* [Materials for a Dictionary of Metaphors and Similes of the 19th–20th Centuries Russian Literature. Issue 1: “Birds”]. Moscow, Iazyki russkoi kul'tury Publ., 2000. 480 p. (In Russ.)

Korovashko, A. V. *Po sledam Dersu Uzala. Tropami Ussuriiskogo kraia* [Tracing Dersu Uzala. Along the Paths of Ussuri Land]. Moscow, Veche Publ., 2016. 256 p. (In Russ.)

Kuz'michev, I. *Pisatel' Arsenëv. Lichnost' i knigi* [Arsenëv as a Writer: His Personality and Books]. Leningrad, Sovetskii Pisatel' Publ., 1977. 237 p. (In Russ.)

Lebedev, A. V. *Logos Geraklita. Rekonstruktsiia mysli i slova* [The Logos of Heraclitus: Reconstruction of Thought and Word]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2014. 533 p. (In Russ.)

Lotman, Iu. M., and B. A. Uspenskii. "Mif — imia — kul'tura" ["Myth — Name — Culture"]. *Tartu State University Bulletin*, vol. 308, *Works on Semiotics*, vol. 6. Tartu, 1973, pp. 282–303. (In Russ.)

Lotman, Iu. M. "'Pikovaia dama' i tema kart i kartochnoi igry v russkoi literature nachala XIX veka" ["'The Queen of Spades' and the Theme of Cards and Card Games in Early 19th-Century Russian Literature"]. Lotman, Iu. M. *Izbrannye stat'i: v 3 t.* [Selected Articles: in 3 vols.], vol. 2. Tallin, Aleksandra Publ., 1992, pp. 389–415. (In Russ.)

Mikhailin, V. Iu. "Vsesoiuznyi tuzemets: chukcha v anekdote i kino" ["The All-Union Aborigine: The Chukchi in Anecdote and Cinema"]. *Imagologiya i komparativistika*, no. 2, 2016, pp. 146–154. (In Russ.)

Nagina, K. A. *Metel'nye prostranstva russkoi literatury (XIX — nachalo XX veka)* [Snowstorm Spaces of Russian Literature (19th — Early 20th Centuries)]. Voronezh, "NAUKA-IuNIPRESS" Publ., 2011. 129 p. (In Russ.)

Paperno, I. "Kto, chto ia?": Tolstoi v svoikh dnevnikakh, pis'makh, vospominaniikh, traktatakh ["Who, What Am I?": Tolstoy in His Diaries, Letters, Memoirs, and Treatises]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2018. 232 p. (In Russ.)

Paperno, I. "Pushkin v zhizni cheloveka Serebriannogo veka" ["Pushkin in Life of a Silver Age Person"]. *Cultural Mythologies of Russian Modernism. From the Golden Age to the Silver Age*. Berkley, LA, Oxford, University of California Press, 1992, pp. 19–51. (In Russ.)

Perekhval'skaia, E. V. *Russkie pidzhiny* [Russian Pidgins]. St. Petersburg, Aleteia Publ., 2008. 363 p. (In Russ.)

Pirs, Ch. S. *Izbrannye filosofskie proizvedeniia* [Selected Philosophical Works]. Moscow, Logos Publ., 2000. 412 p. (In Russ.)

Plotnikova, N. I. V. K. *Arsen'ev: tvorcheskaya individual'nost' pisatel'ia. Zhanrovoe svoeobrazie prozy* [V. K. Arsen'ev: The Creative Individuality of a Writer. The Genre Originality of His Prose: PhD Dissertation]. Vladivostok, 2003. 243 p. (In Russ.)

Said, E. *Orientalizm* [Orientalism]. Moscow, Muzei sovremennogo iskusstva Garazh Publ., 2021. 560 p. (In Russ.)

Slezkin, Iu. *Arkticheskie zerkala: Rossiia i malye narody Severa* [Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2008. 512 p. (In Russ.)

Tarasova, A. I. *Vladimir Klavdievich Arsen'ev* [Vladimir Klavdievich Arsen'ev] Moscow, Nauka Publ., 1985. 344 p. (In Russ.)

Uspenskii, B. A. "Poetika kompozitsii" ["The Poetics of Composition"]. Uspenskii, B. A. *Semiotika iskusstva* [Semiotics of Art]. Moscow, Iazyki russkoi kul'tury Publ., 1995, pp. 9–218. (In Russ.)

Uspenskii, B. A. "Pushkin i Tolstoi: tema Kavkaza" ["Pushkin and Tolstoy: The Theme of Caucasus"]. Uspenskii, B. A. *Istoriko-filologicheskie ocherki* [Historical and Philological Essays]. Moscow, Iazyki slavianskoi kul'tury Publ., 2004, pp. 27–48. (In Russ.)

Scheler, M. *Resentiment v strukture moralei* [Resentiment in the Structure of Morals]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1999. 231 p. (In Russ.)

Shmid, V. *Proza kak poeziia. Pushkin, Dostoevskii, Chekhov, avangard* [Prose as Poetry: Pushkin, Dostoevsky, Chekhov, and the Avant-Garde]. St. Petersburg, INAPRESS Publ., 1998. 352 p. (In Russ.)

Eikhenbaum, B. M. *Lev Tolstoi: issledovaniia. Stat'i* [Leo Tolstoy: Researches. Articles]. St. Petersburg, Faculty of Philology and Arts Publ., 2009. 952 p. (In Russ.)

Iakimova, L. P. *Mnogonatsional'naia Sibir' v russkoi sovetskoi literature* [Multiethnic Siberia in Russian Soviet Literature]. Novosibirsk, Nauka Publ., 1982. 229 p. (In Russ.)

Iarotskaia, Iu. A. *Tvorchestvo V. K. Arsen'eva. Spetsifika nauchno-khudozhestvennoi sistemy* [The Work of V. K. Arsen'ev: The Specifics of His Scientific and Artistic System: PhD Dissertation]. Vladivostok, 2005. 187 p. (In Russ.)

Iarotskaia, Iu. A. "Khudozhestvennye osobennosti knigi V. K. Arsen'eva 'Po Ussuriiskomu kraiu' (opyt analiza glavy 'Purga na ozere Khanka')" ["Artistic Features of V. K. Arsen'ev's Book 'Across the Ussuri Land' (A Case Study of the Chapter 'Snowstorm on Lake Khanka.')]. *Smyslovoe prostranstvo teksta* [The Semantic Space of the Text], issue 8. Petropavlovsk-Kamchatsky, Vitus Bering Kamchatka State University Publ., 2008, pp. 140–149. (In Russ.)

Iarotskaia, Iu. A. "Priamaia rech': otrazhenie etnokul'turnoi mental'nosti geroia v tekstakh V. K. Arsen'eva" ["Direct Speech: The Reflection of the Hero's Ethnocultural Mentality in the Texts by V. K. Arsen'ev"]. *Smyslovoe prostranstvo teksta* [The Semantic Space of the Text], issue 12. Petropavlovsk-Kamchatsky, Vitus Bering Kamchatka State University Publ., 2013, pp. 56–61. (In Russ.)

Iarotskaia, Iu. A. "Motiv pomoshchi i obrazy pomoshchnikov v tekstakh V. K. Arsen'eva" ["The Motif of Help and Images of Helpers in Texts by V. K. Arsen'ev"]. *Oikumena*, no. 3, 2017, pp. 65–73. (In Russ.)

Alatas, Syed Hussein. *The Myth of the Lazy Native*. London: Frank Cass Publ., 1977. 267 p. (In English)

Fairchild, Hoxie Neale. *The Noble Savage. A Study in Romantic Naturalism*. New York, Columbia Univ. Press, 1928. 535 p. (In English)

Glebov, Sergey. "The Political Ecology of Vladimir Arsen'ev." *Sibirica*, vol. 19, no. 3, 2020, pp. 15–36. (In English)

Nichols, Johanna. "Stereotyping Interethnic Communication: The Siberian Native in Soviet Literature." *Between Heaven and Hell: The Myth of Siberia in Russian Culture*, ed. by G. Diment and Yu. Slezkine. New York, St. Martin's Press, 1993, pp. 185–214. (In English)

White, Hayden. "The Noble Savage: Theme as Fetish." White, H. *Tropics of Discourse. Essays on Cultural Criticism*. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1978, pp. 183–196. (In English)